

вильным. Ясновидец же и пророк толкует свои видения не сам: кошмар, его угнетающий, напоминает ему не о собственной болезни, не о собственной смерти, но о болезни и смерти общего, чьим органом, чьими щупальцами он является. Этим общим может быть семья, партия, народ, но им может быть и все человечество.

То в душе Достоевского, что мы привыкли называть истерией, некая болезнь и способность к страданию послужили человечеству подобным органом, подобным путеводителем и барометром. И человечество начинает замечать это. Уже пол-Европы, уже по меньшей мере половина восточной Европы находится на пути к хаосу, мчится в пьяном и святом раже по краю пропасти, распевая пьяные гимны, какие пел Дмитрий Карамазов. Над этими гимнами глумится обиженный обыватель, но святой ясновидец слушает их со слезами.

РАЗМЫШЛЕНИЯ ОБ «ИДИОТЕ» ДОСТОЕВСКОГО

Князя Льва Мышкина, этого созданного Достоевским «идиота», часто сравнивали с Иисусом. Такое, разумеется, вполне допустимо. Любой человека можно сравнить с Иисусом, приобщившимся к некоей магической истине, не отделявшим с тех пор мыслей от жизни и потому сделавшимся одиноким даже в кругу близких и врагом для всех. Поэтому сходство Мышкина и Иисуса не кажется мне особенно удивительным; лишь одна, правда, важная черта его удивляет: робкое целомудрие. Скрытый страх перед полом и зачатием — черта, отнюдь не чуждая «историческому», евангельскому Иисусу. И это явственным образом относится к его мировой миссии. Даже то поверхностное изображение Христа, какое дает Ренан*, не лишено этой черты.

Но вот что странно: как бы мало ни нравилось мне вечное сравнение Мышкина с Христом, я все же усматриваю какую-то непостижимую связь между этими двумя образами. Такое пришло мне на ум лишь позднее — и довольно занятным путем. Однажды, когда я размышлял об этом безумце, я вдруг понял, что первая моя мысль о нем всегда обращена на что-то второстепенное. Когда я размышляю о нем, в первый момент он видится мне в какой-то особой, побочной сцене, которая не важна сама по себе. Точно так же и Христос. Когда какая-нибудь ассоциация вызывает во мне образ Иисуса или же слово «Иисус» настигает меня посредством слуха или зре-

ния, я в первое мгновение никогда не вижу Иисуса на кресте, или Иисуса в Пустыне, творящего чудеса, или Иисуса, восставшего из гроба, а вижу его в тот момент, когда он в Гефсиманском саду испивает до дна последнюю чашу одиночества, когда душа его разрывается от мук, от неизбежности смерти и рождения в новом, высшем качестве и когда он в по-детски трогательной жажде последнего утешения ищет глазами своих учеников, ищет немного тепла и человеческого участия, мимолетного возвышенного обмана посреди своего безнадежного одиночества, — а ученики в это время спят! Они улеглись и спят — честный Петр, красавчик Иоанн, все эти славные люди, в которых Иисус по великой своей доброте привык раз за разом ошибаться, которым он внушает свои мысли, крупицы своих мыслей, словно бы эти люди способны понять его язык, словно бы им и впрямь можно внушить его мысли, вызвать в них какие-то родственные чувства, найти какое-то понимание, какую-то близость и солидарность. И вот теперь, в минуту невыносимой муки, он ищет глазами своих спутников, тех единственных, которые есть у него, и весь он — сама отзывчивость, сама человечность, само страдание, теперь он мог бы стать им ближе, чем когда бы то ни было, мог бы каждое их глупое слово, каждое мало-мальски приветливое выражение лица воспринять как утешение и ободрение — но не тут-то было, их нет рядом, они спят и храпят во сне. Не знаю, каким образом, но этот ужасный момент с самых ранних лет глубоко врезался мне в сознание, и, как уже сказано, когда я думаю об Иисусе, всякий раз во мне тут же непременно возникает воспоминание об этом мгновении.

Когда я думаю о Мышкине, об этом «идиоте», он тоже видится мне сначала не в какой-нибудь важный момент, а именно в момент такой же неправдоподобный, полный изоляции, трагического одиночества. Сцена, которую я имею в виду, — вечер в Павловске, в доме Лебедева, где князь, через несколько дней после эпилептического припадка, на правах выздоравливающего принимает визит семьи Епанчиных. Неожиданно среди этого веселого, элегантного общества, чувствующего тем не менее какую-то скрытую напряженность и тревогу, появляются молодые господа, бунтари и нигилисты — такие, как словоохотливый малый Ипполит со своим так называемым сыном Павлищевым, «боксером», и прочими. При чтении эта противная, во всяком случае неприятная, сцена вызывает возмущение и кажется отвратительной, когда все эти ограниченные, обманутые молодые

люди оказываются как бы на залитой чересчур ярким, резким светом арене, голые и уязвимые в своей беспомощной озлобленности. Каждое, буквально каждое сказанное ими слово причиняет боль дважды: во-первых, своим воздействием на доброго Мышкина, а во-вторых — той жестокостью, что разоблачает самого говорящего, дает возможность понять цену ему. Вот эту сцену — редкостную, незабываемую, но не особенно важную и не отмеченную как-либо в самом романе — я и имею в виду. С одной стороны — общество, элегантные светские люди, богатство, влиятельность и консерватизм; с другой — разъяренная молодежь, безжалостная, не признающая ничего, кроме мятежа, кроме ненависти к существующему порядку вещей, безрассудная, беспутная, буйная, невыразимо тупая, при всем своем теоретическом интеллектуализме, а между обеими группами — князь, однокий, легко уязвимый, под критическими, пристальными взглядами с обеих сторон. И как же разрешается это положение? Оно разрешается тем, что Мышкин, совершив лишь несколько мелких промахов, вызванных волнением, поступает в полном соответствии со своей доброй, нежной, детскойатурой, с улыбкой терпя невыносимое, на бесстыдство отвечая самоотверженностью, готовностью взять на себя всякую вину, счесть ее своей, — и он терпит полное поражение, подвергаясь осмеянию со стороны не той или другой группы, скажем, молодых, или пожилых людей, но с обеих сторон! Все отворачиваются от него, он задел всех. В один миг внешние расхождения этого общества — возраст, образ мыслей — исчезли; все едины, полностью едины в своем возмущении и гневе против того единственного поистине чистого человека, какой оказался среди них!

Почему же такого рода безумцы невыносимы в мире иных людей? Почему их никто не понимает, хотя они по-своему любят почти всех, хотя их кротость располагает к ним почти всех, часто кажется даже примером для подражания? Что отделяет этих зачарованных людей от остальных, обычновенных? И почему последние оказываются правыми, отвергая их? Почему они могут поступать так и не ошибаться? Почему у них все получается как у Иисуса, которого в конце концов оставил не только весь свет, но и все его ученики?

Это происходит потому, что безумец мыслит иначе, нежели другие. Дело не в том, что он мыслит не просто менее логично, не просто более по-детски, ассоциативно, чем они.

Его мышление я назвал бы «магическим». Он, этот кроткий безумец, отрицает целиком жизнь, мышление, чувство — вообще мир и реальность всех прочих людей. Для него действительность совершенно иная, нежели для них. Их действительность ему кажется всецело призрачной. И вот потому, что он видит совершенно новую действительность и требует осуществления ее, он делается врагом для всех.

Разница не в том, что те ценят власть и деньги, семью и государство, а он — нет. И не в том, что он представляет нечто духовное, а они — материальное, или как бы там все это ни называлось! Не в этом тут дело. Материальное существует и для безумца, он тоже признает значимость таких вещей, даже если и считает их не многою стоящими. Его требования, его идеалы несхожи с устремлением индийских аскетов, стремящихся уйти прочь от мира иллюзорной действительности ради удовлетворенности духа самим собою, что и представляется им единственным реальным.

Нет, о взаимных притязаниях природы и духа, о необходимости их совместного действия Мышкин легко договорился бы с прочими. Но для них совместность существования и равная значимость обоих миров — лишь нечто теоретическое, а для него — сама жизнь! Чтобы это стало яснее, попробуем представить себе дело с несколько иной стороны.

Мышкин отличается от прочих людей тем, что он «идиот» и эпилептик, но также и весьма неглупый человек, стоит куда более в близких и непосредственных отношениях с бессознательным, нежели они. Наиболее возвышенное из пережитого им — это те доли секунды высшей силы чувства и проницательности, которые он пережил однажды, ощущив свою способность на какой-то, словно освещенный молнией миг стать всем: сочувствовать всем, сострадать всем, понять и принять все, что только есть на свете. Он владеет волшебством, и свою мистическую мудрость он не вычитал, ценя ее, не выучил, удивляясь ей, но действительно вжился в нее (пусть даже на мгновения). Его не только посещают редкие мысли, важные прозрения; однажды или даже не раз он оказывается на той таинственной грани, за которой можно принять все, за которой верна не только данная мысль, но и мысль, ей противоположная.

Это страшно, и не зря он внушает страх другим. Он ведь не совсем одинок, не весь свет против него. Есть несколько человек, весьма сомнительных, внушающих опасения и прямо опасных, которые временами сочувствуют ему и понима-

ют его: Рогожин, Настасья Филипповна. Его понимают преступник и истеричка — его, невинное, кроткое дитя! Но, Бог мой, это дитя не столь кроткое, каким кажется. Невинность его отнюдь не безобидна, и не зря люди боятся его.

Безумец временами близок к той грани, за которой вместе с данной мыслью ему представляется истинной и противоположная. Значит, у него возникает чувство, будто не существует вообще никаких мыслей, никаких законов, никаких видов и форм, которые были бы правильны и истины не иначе, как при рассмотрении с одного полюса, то есть что с каждым полюсом соотносится ему противоположный. Но установление единственного полюса, определение одной точки зрения, откуда рассматривается и организуется мир, есть первейшая основа всякого разграничения, всякой культуры, всякого общества и морали. Кто считает, что дух и природа, добро и зло могут хоть на единый миг поменяться местами, тот злейший враг всякого порядка. Ибо отсюда происходит противоположность этого самого порядка, отсюда начинается хаос.

Образ мысли, возвращающий нас к бессознательному, к хаосу, уничтожает всякий человеческий порядок. «Идиоту» сказали однажды, что он обязан говорить «да» лишь истине, только и всего, — воспоследовало же нечто устрашающее! Вот так-то: все истинно, всему можно сказать «да». Но чтобы упорядочить мир, чтобы достигнуть какой-либо цели, чтобы стали возможными закон, общество, организация, культура и мораль, для этого за «да» должно следовать «нет», мир должен быть поделен на противоположности, на добро и зло. Даже если первоначально введение каждого «нет», каждого запрета вполне произвольно, оно делается священным, как только стало законом, как только обрело далеко идущие последствия, как только сделалось основой некоторой системы взглядов, порядка.

Высшая реальность для человеческой культуры — вот такое деление мира на тьму и свет, добро и зло, дозволенное и запретное. Для Мышкина же высшей реальностью представляется обратимость каждого установления, равнозначность данного и противоположного полюсов. «Идиот» — продолжая мысль до конца — вводит матриархат бессознательного, упраздняет культуру. Он не разбивает скрижалей закона, он обращает их другой стороной и показывает, что там начертано противоположное.

И то, что этот враг порядка, этот грозный разрушитель выведен не преступником, а милым, робким человеком, полным какой-то детской прелести, сердечной верности и самозабвенной доброты, — есть тайна этой устрашающей книги. Из самых глубоких побуждений Достоевский изображает этого человека больным, эпилептиком. Все носители нового, устрашающего, неизвестного будущего, все предвестники уже ощущаемого хаоса — у Достоевского больные, подозрительные, отягощенные чем-то люди: Рогожин, Настасья Филипповна, позже — четверо Карамазовых. Все они — странные, особенные фигуры, но перед их исключительностью и болезненностью мы испытываем своего рода священный трепет — вроде того, с каким жители Азии относятся к умалишенным.

Примечательным же и необычным, важным и наводящим на размышления следует считать не то, что где-то в России пятидесятых и шестидесятых годов гениальный эпилептик был обуреваем подобными фантазиями и создал подобные образы. Важно то, что в последние три десятилетия молодежь Европы все сильнее чувствует значительность и пророческий смысл этих книг. Необычно то, что в преступников, истериков и безумцев Достоевского мы вглядываемся совсем иначе, нежели в образы преступников и сумасшедших, выведенных в романах других писателей, что мы так тревожимся за них, так странно их любим, что мы и в себе находим нечто родственное этим людям, сходное с их чертами.

Дело тут не в случайности и отнюдь не в сторонних обстоятельствах или литературных особенностях произведений Достоевского. Некоторые черты его просто сбиваются с толку; вспомним хотя бы о том, что он предвосхитил так развившуюся потом психологию неосознанного; его произведение удивляет нас не какими-либо особенно высокими достижениями или законченностью, не художественным отображением в основном знакомого и привычного нам мира — нет, мы воспринимаем его как пророчество, как предвестника разрушения и хаоса, какими на наших глазах несколько лет назад была охвачена Европа. Мир созданных им фигур едва ли можно понимать как изображение будущего, как некий идеал; таким его и не считал никто. Нет, мы видим в Мышикине и других подобных ему фигурах не образец для подражания: «Таким ты должен стать!» — но неизбежность: «Через это мы должны будем пройти, это наша судьба!»

Будущее неопределенно, путь же к нему указан здесь недвусмысленно. Направление его — к новому душевному строю, он ведет через Мышкина, требует «магического» мышления, принятия хаоса. Это возврат к неупорядоченному, возврат к бессознательному, лишенному формы, к животному состоянию и еще далее — к началу начал. Не ради того, чтобы превратиться в животное или стать первозданной материей, но чтобы обрести новые ориентиры, чтобы у корней нашего бытия отыскать забытые инстинкты и возможности нашего развития, чтобы вновь приняться за созидание, оценку, разграничение нашего мира. На этом пути не стоит искать какой-то программы, и никакой переворот не откроет туда дверь.

Каждый вступает на него в одиночку, сам по себе. В жизни каждого из нас будет время, когда мы окажемся у той хорошо известной Мышкину грани, за которой исчезают одни истины и возникают другие. Каждый из нас в какое-то мгновение своей жизни испытывает примерно то же, что Мышкин в секунды озарения и что сам Достоевский испытал в те минуты, когда уже стоял на эшафоте, сойдя с которого он обрел взор пророка.

СВОЕНРАВИЕ

Есть добродетель, единственная, которую я очень люблю. Называется она своим нравствием. Ни одна из добродетелей, о коих читаем мы в книгах или слышим от наставников, не вызывает у меня такого почтения. Ведь все это многообразие изобретенных человеком добродетелей можно свести к одному имени. Добродетель — это послушание. Вопрос лишь в том, кому ты послужен. Ибо и своим нравствием — это тоже послушание. Однако все прочие столь излюбленные и высоко ценимые добродетели являются послушанием по отношению к законам, данным людьми. И только своим нравствием не спрашивает об этих законах. Кто своим нравствием, подчиняется другому закону, единственному непреложно святому, тому закону, что заключен в самом человеке — «своему нраву».

Как жаль, что своим нравствием так мало любят! Внушает ли оно хоть какое-нибудь уважение? О нет, его даже считают пороком или, во всяком случае, чем-то вроде непростительной невоспитанности. В полный голос его поминают лишь тогда, когда оно мешает и вызывает ненависть. (Кстати, ис-